

живающим за аристократами. Тут ясное противоречие, одно что-нибудь неверно; а я полагаю, что все неверно: последнее объясняется тем, что я уже сказал, а первое опровергается тем, что скажу: никогда Глинка не заявлял ненависти или презрения к публике и аристократии<sup>4</sup>; но говорил, что публика еще не на столько образована музыкально, чтоб понять «Руслана». Время доказало справедливость этих слов: в настоящее время «Руслан» ставится выше «Жизни за царя». Если бы Глинка ненавидел аристократию, то он не посещал бы охотно дома гр. Виельгорского, кн. Вяземского, кн. Одоевского и др., где в то время находили себе приют поэзия и искусство. Вообще Глинка охотно знакомился с людьми, которых умственные и нравственные качества ему нравились; он не принимал в соображение: титулованы они, или вовсе не имеют дворянского диплома.

(Стр. 430 и 431). Даргомыжский укоряет Глинку в том, что писал сочинения на разные празднества и что это единственные его плохие сочинения. Положим, они плохи; но мог ли Глинка отказать настоящим просьбам тех, которые желали украсить свой праздник его именем? Да и что же тут дурного? разве его слава, его доброе имя, его безукоризненная честность пострадали от этого?

А что Глинка намеревался посвятить «Руслана» Гедеонову<sup>5</sup>, то и в этом нет ничего предосудительного, потому что он был в отличных отношениях с этим, превосходно образованным, тогда еще молодым человеком.

Наконец, Даргомыжский говорит, что в последние годы своей жизни Глинка разошелся с прежними своими товарищами. Против этого в выноске сказано, что эти слова не совсем справедливы; а я утверждаю, что они совсем неверны: Глинка со всеми нами, его друзьями, остался одинаковым до своей смерти.

В. Н. КАШПЕРОВ

## ВОСПОМИНАНИЕ о М. П. ГЛИНКЕ

М. Г. Благодарю Вас за внимательность, которою Вам угодно было почтить меня:— корректурные листы с письмами дорогого Михаила Ивановича Глинки я получил. В этих письмах он обрисовывается несравненно ярче и полнее, чем в каких-либо биографических очерках. Лишь одна сторона его жизни вовсе не выяснена, и мне кажется, что никто еще не взялся разъяснить то, что составляло существенную причину его постоянных и глубоких страданий, сначала нравственных,— а потом и физических, конечно.

Он часто говаривал у нас в доме,— когда мы жили в Берлине — в 1856 году: — «J'ai toujours été maltraité moralement»\*.

Многие возразят: да ведь он был чрезвычайно впечатлителен как художник, а под конец раздражителен до болезни — и на таком объяснении успокоятся. Мне самому случалось слышать такого рода суждения и даже от коротких его приятелей. Но мне кажется, что болезнен-

\* Со мною всегда жестоко обращались в смысле нравственном (франц.)

ного и даровитого композитора во всей Европе, так что, как композитор, он мог считать себя одним из самых счастливых. И такого-то гениального, крепкого человека русское общество уложило в гроб до 54 лет, без особенных видимых причин! Лишь один резкий признак на виду: «j'ai toujours été maltraité moralement» — по которому тотчас приходят на память целый ряд воспоминаний из его рассказов, как его чтили, коль скоро влиятельное лицо его обласкает и похвалит, и как от него отворачивались, когда влиятельное лицо его забывало<sup>2</sup>.

Если в Европе, за весьма малым исключением, большинство даже великих композиторов страдало от дурного обращения с ними и, как Моцарт, умирали рано и в нищете,— то тут причина довольно ясна: сами эти композиторы были весьма одностороннего образования и вообще мало развиты, и потому, когда не нужна была музыка, старались избегать музыкантов только, которые других интересов для общества и не представляли; другими словами, общество за композитором человека не видело, или не хотело видеть.

С Глинкой совсем другое было: он сам был из так называемого порядочного общества, был приятель Жуковского, Пушкина и по развитию принадлежал скорее к высшему кругу.

Это уже ясно указывает на низкий уровень общественного воспитания; я говорю о воспитании действительном, а не внешнем, которое учит — когда и где какие перчатки надеваются, сколько кому платится визитов и каким особам улыбаться подобает; обойтись же по-человечески с лицом, которого вы не боитесь или в котором вы не нуждаетесь, у нас умеют весьма немногие даже в ученой и развитой среде. В нашем обществе нужно уметь казаться, импонировать; ни того ни другого у Глинки не было и следа.

Если взять все это в соображение, то легко понять, сколько грубых и незаслуженных оскорблений должна была выстрадать эта добродушнейшая и впечатлительная натура, которой только и оставалось, что сжиматься как мимозе (как он сам себя любил называть) от всякого грубого прикосновения.

Припоминая все рассказы Глинки по поводу вышесказанной французской фразы, удивляешься только, как он выдержал так долго такую нравственную каторгу.

Ему часто приходилось испытывать от нашего общества то чуть не царский почет, то, вслед затем, взгляды свыска и унижение, а подчас и насмешки. Так например, между офицерами не раз повторялась фраза: «смотри не попадись в чем-нибудь — а то тебя пошлют «Руслана» слушать»... Эта фраза повторялась потому, что она была произнесена одним из влиятельных<sup>3</sup>.

Толковать здесь, почему мы еще не доросли до простого чувства человеческого достоинства, и почему мы его мало ценим и в себе и в других,—вовсе не у места; но нельзя не поместить существенной причины постоянных и глубоких страданий М. И. Глинки.

Характеристическая черта его была добродушная веселость, которая его не оставляла, за исключением лишь того времени, когда он испытывал на себе чье-либо грубое прикосновение. Даже с доктором, за неделю до смерти, он еще шутил и встречал его фразой: «Знаете ли, доктор, я гораздо более боюсь медиков, нежели самой болезни». А потом за день до смерти, когда я его подымал с постели и «облекал его

Страдал он физически более всего последнюю неделю; у него было затвердение печени, и его по временам болезненно схватывало; но с роздыхами, так что он мог иной раз придумывать, лежа на постели, интересные контрапункты.

Он, последнюю осень, занимался с профессором Деном канон и фугой; а потом все собирался вместе со мною уехать в Италию для изучения голосов и составлял планы, как удобно и приятно будет нам помещению на Lago di Como, где он по карте выбрал Villa Pliniana.

Я привез в Берлин небольшую русскую библиотеку: Гоголя, Островского, Тургенева, Григоровича, Белинского, Кудрявцева и других. Глинка жадно вчигывался в них, и иной раз до слез умилялся над ними. Тут только, в Берлине, я заметил, что он литературы нашей с сороковых годов вовсе не знал, потому что в свое время вращался в такой среде, которая, кроме Пушкина, Жуковского, Карамзина и еще немногих, никого не признавала за литераторов, и пробавлялся более иностранной литературой.

Последние три месяца, русские, желавшие его видеть в Берлине (их было, вероятно, весьма немного,— я помню лишь графа Матвея Виельгорского, А. Рубинштейна, князя В. Ф. Одоевского, да И. С. Тургенева), могли застать маленькую коренастую фигуру Глинки, в стеганом ватном халате, с аршинным карандашом в руках, в бархатной феске, из которой вырывался на лоб непослушный с проседью вихор, в длинных белых чулках, с цветными подвязками, которых у него было очень много, и в башмаках. Как только его нужно было одевать, то слуга обязывался весь труд брать на себя, даже умывать и причесывать; тут были сохранены все приемы русского барича 20-х годов. Денег, выходя из дома, он при себе держать не любил, потому что сознавал за собой привычку все имеющиеся при нем деньги непременно израсходовать.

Во время музыкальных исполнений, как впечатлительный человек, он не умел сдерживать себя ни в похвалах, ни в порицаниях, так что когда мы сидели втроем в опере (т. е. Глинка, жена моя и я), то он начинал с того, что упрашивал нас сидеть как можно тише. «Барыня, ни гу-гу!» обращался он к моей жене, а потом поднимал один такой шум, что обращал на себя внимание всех благочестивых посетителей Opern-Hauses \*, и раз даже Мейербер явился к нам с полукомическим тоном заявить, что в нашей ложе, говорят, есть какой-то маленький русский, который шумит на весь театр.

Глинка был очень хорошо знаком с Мейербером, и потом познакомил и меня с ним. Сколько искренних и непритворных похвал высказывал мне Мейербер в особенности об оркестровке Глинки!

Говоря о Глинке, нельзя не вспомнить о том, с каким интересом и сочувствием относился он ко всякому мало-мальски серьезному начинанию в музыке у русских. Когда я ему показывал мою первую оперу «Цыгане», ему понравились два номера, и он тотчас, обратившись ко мне с симпатичною речью, заключил так: «я почту за наслаждение и за нравственную обязанность покончить ваше музыкальное образование».

В разговорах с ним о ком-либо из музыкантов русских или иностранных, никогда не проскальзывало тени зависти. Кто знал его корот-

\* Оперного театра (нем.)

более обдумывал новые музыкальные формы, представлявшие ему делом, но это была схоластика; со мною же он не раз беседовал как вдохновенный музыкант и не раз брал у меня перо из рук и поправлял мою работу. Так помню, я был им послан к Фракману в Петербург для напечатания моего романса с двумя окончаниями: одно его, другое мое — «Очарование красоты в тебе не страшно нам» (слова Баратынского).

Он хотел, чтобы я с его слов записал характеристику оркестра вообще и каждого инструмента порознь. Она сохранилась у меня как дорогое воспоминание<sup>4</sup>.

Препровождаю к вам отысканные у меня письма Глинки. Жаль, что все они, кроме этих двух, растеряны при постоянных переездах за границу, и, вероятнее всего, на таможнях.

В Италии мне привелось быть свидетелем громаднейшего успеха симфонических произведений Глинки.

В 1864 году я выписал несколько партитур его; получив их, тотчас же передал «Арагонскую хоту» и «Мадридскую ночь» в лучшее симфоническое общество в Милане. Исполнение было так верно и хорошо под руководством превосходного директора Басси, что энтузиазму не было границ. На следующий день несколько газет заявили желание публики услышать еще раз «Арагонскую хоту» и «Мадридскую ночь». Берлинцы, Мейербер во главе, исполнявшие несколько номеров из «Жизни за царя» в 1856-м году<sup>5</sup> при дворе прусского короля, могли бы справедливо позавидовать итальянскому исполнению Глинки в Милане.

Помню, что после придворного концерта в Берлине Глинке был предложен орден или денежное вознаграждение, но он до того был недоволен исполнением<sup>6</sup>, что отказался и от того и от другого, все недоумевая: зачем бы это нужно Мейерберу исполнение «Жизни за царя» при прусском дворе?..

Это случилось, кажется, в декабре 1856 г., а через месяц его уже не стало.

На похоронах присутствовали лишь Мейербер, Ден и Ваш покорнейший слуга<sup>7</sup>.

*Н. В. КУКОЛЬНИК*

## ИЗ МОИХ ЗАДУШЕВЫХ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК

Петербург

...Поедем! мне же так скучно стало в Петербурге. Смерть Глинки обличила, что нравственное состояние общества не только не изменилось, но еще глубже запало в волчью яму, так искусно выкопанную чужеземцами [...]. Бежать от них! Бежать хоть на время, потому что обстоятельства приковали мои ноги к этой несчастной земле, на которой есть жители, но нет граждан.

\*

3 февраля нашего стиля в Берлине скончался М. И. Глинка; как это случилось — узнаю в Берлине, но в Петербург эта весть прилетела чуть не на крыльях<sup>1</sup>. Я знал моих русских патриотов, я помнил, как равнодушно потеряли они Брюллова, так что, кроме газет, никто и не заметил, что умер Карл Великий в живописи. Никакого публичного